

• ДЕНИС ПОЖИДАЕВ •

# ПОСЛЕ

ПРОТОКОЛ

№ 0007

ВОПРОС  
БЕЗ ОТВЕТОВ

ПАМЯТЬ  
НЕ УМИРАЕТ  
ОНА  
ПЕРЕХОДИТ

51.5074° N  
0.1276° W

$\Delta t \rightarrow 0$

$S \rightarrow k \log W$

$Q \rightarrow dQ / T$

ПЕРЕХОД —  
НЕ КОНЕЦ  
А СОСТОЯНИЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ

• КОЖА НЕБЫТИЯ •

СЕРИЯ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

Денис Пожидаев

**Кожа Небытия**

«Автор»

2026

## **Пожидаев Д.**

Кожа Небытия / Д. Пожидаев — «Автор», 2026

Врач Илья Корвин всю жизнь исследовал распад человеческого разума. За точными диагнозами и медицинской терминологией он прятался от чужой боли и страха перед угасанием — даже когда болезнь коснулась его собственной матери. Он был уверен, что знает о потере личности всё, пока однажды граница между врачом и пациентом не исчезла. Эта глубокая философская драма исследует хрупкость «я» и ищет ответ: что остаётся от человека, когда Небытие стирает его тело, время, имя и саму память?

© Пожидаев Д., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

Глава 1. Тест с ложкой	5
Глава 2. Осторожный жест	7
Глава 3. Кабинет Ильи	9
Глава 4. Мать до болезни	11
Глава 5. «Вы из какой палаты?»	13
Глава 6. Отец	15
Глава 7. Брат Андрей	17
Глава 8. Последняя просьба брата	20
Глава 9. После похорон	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

# Денис Пожидаев

## Кожа Небытия

### Глава 1. Тест с ложкой

Кабинет к десяти утра нагревался неровно: батарея под окном давала сухое тепло, а от стекла всё равно тянуло холодом, и Илья каждый раз, садясь напротив пациента, чувствовал эту границу — тёплое снизу, стылое сверху, как будто комната сама не могла договориться, живая она или нет.

Нина Аркадьевна сидела прямо. Восемьдесят два года, а спина держалась лучше, чем у иных сорокалетних. Она положила руки на колени поверх сумки, которую не отдала медсестре, и смотрела на Илью с той вежливой готовностью, с какой смотрят на человека, от которого ждут вопроса, но заранее знают, что вопрос будет глупым.

— Мы с вами немного поиграем, — сказал Илья. Он не любил это слово, «поиграем», но оно снимало напряжение лучше, чем «протестируем». — Я буду показывать простые вещи, а вы называть.

— Я в своём уме, — сказала она. Не резко. Как справку предъявила.

— Я знаю.

Он выложил на стол карточки, потом отодвинул их. С Ниной Аркадьевной карточки были лишними; дочь в коридоре уже рассказала главное — забывает слова, но не путает людей, ещё готовит, ещё сама одевается, вчера не смогла назвать чайник и заплакала. Илья держал эту деталь в стороне, как держат в стороне анамнез: важно, но пока не показывай, что важно.

Он достал из ящика ложку. Обычную, столовую, из тех, что стояли в подстаканнике на его столе среди карандашей. Металл был тусклый, с царапиной у основания черпала.

— Вот это. Что это?

Она посмотрела на ложку и чуть наклонила голову. Взяла — пальцы легли правильно, тремя точками, как ложатся пальцы человека, который держал ложку восемьдесят лет. Большой сверху, указательный и средний снизу. Кисть развернулась, и черпало пошло вверх, к лицу, коротким выверенным движением. Она поднесла ложку почти ко рту и остановилась.

— Это... — сказала она.

Илья не подсказывал. Это было первое правило, которому он учил ординаторов и которое сам нарушал реже всех: не помогать. Подсказка милосердна ровно на одну секунду и лжива на всю оставшуюся жизнь. Если назвать за человека, ты уносишь протокол домой чистым, а человек уносит домой ощущение, что кто-то опять сделал за него то, чего он сам не смог.

— Это, — повторила Нина Аркадьевна.

Назначение было при ней. Движение было при ней. Рука знала маршрут ко рту так же твёрдо, как знала его вчера и позавчера, и знала бы завтра. Не хватало одного звена. Между предметом в руке и словом на языке образовался разрыв, и она в этот разрыв смотрела с растущим, тщательно скрываемым ужасом человека, который заглянул в собственный карман и не нашёл там того, что клал всю жизнь.

— Ну, — сказала она с лёгким смешком, который должен был всё отменить. — Ей едят.

— Правильно, — сказал Илья. — А как она называется?

Ложка стукнула о край стола. Тихо, один раз. Нина Аркадьевна не заметила, что стукнула; это рука её подвела, дрогнула. Она поставила локоть, выпрямила запястье и теперь держала предмет над столом, разглядывая, будто рассчитывала, что имя проступит на металле, если смотреть достаточно строго.

Потом она сделала то, чего в протоколе не было.

Она провела подушечкой большого пальца по краю черпала. Медленно, вдоль всей кромки, как проводят по краю монеты, проверяя, настоящая ли. Кожа искала там то, чего не давало зрение. Илья видел таких пальцев за свою жизнь сотни: они пытались опознать предмет не через голову, а напрямую, минуя сломанный участок, — через прикосновение, через тепло, через край. Как будто у названия есть температура и её можно нащупать.

— Вы меня проверяете, — сказала она вдруг, и голос стал ровнее, жёстче. — Я понимаю, что вы делаете.

— Да, — сказал Илья. Он не имел привычки врать пациентам. — Проверяю.

— Я знаю, что это. — Она положила ложку на стол, черенком к себе, аккуратно, как кладут вещь, которую больше не хотят держать. — Я просто не буду говорить. Не хочу.

Это была ложь, и оба знали, что это ложь, и в этом знании было её достоинство. Она предпочитала выглядеть упрямой, а не пустой. Илья много раз наблюдал этот выбор и всегда отмечал его одинаково: сохранность критики, реакция сокрытия дефицита. Формулировка была точной и ничего не весила. Под ней сидела женщина, которая только что не смогла назвать предмет, которым ела всю жизнь, и решила, что унижение лучше носить как гордость.

— Хорошо, — сказал он. — Тогда следующее.

Он убрал ложку в ящик. Но прежде чем задвинуть его, задержался на секунду дольше нужного — на металле осталась влажная полоска там, где прошёл её палец, и полоска эта медленно бледнела, испаряясь. Илья закрыл ящик.

Он записал в карту: аномия, называние предметов обихода нарушено при сохранном узнавании функции; критика сохранна; тенденция к сокрытию. Ручка шла ровно. Термины ложились один к одному, плотно, и за ними, как за кладкой, переставало быть слышно, что в комнате только что произошло. Так и было устроено: слова диагноза складывались в стену, и по эту сторону стены можно было работать дальше, не чувствуя сквозняка.

Нина Аркадьевна снова положила руки на сумку. Смотрела в окно, где от стекла тянуло холодом.

— Вы, наверное, много таких видите, — сказала она.

— Да.

— И что, — она повернулась к нему, и в лице не было ни жалобы, ни слёз, только точный, взрослый интерес, — они потом совсем перестают?

Илья держал ручку над картой. У него был честный ответ и был профессиональный, и профессиональный существовал именно для таких минут — чтобы не давать честный.

— По-разному, — сказал он.

Она кивнула, будто и не ждала другого, и снова отвернулась к окну. А Илья вписал в графу «динамику наблюдать» и подчеркнул, и почувствовал, привычно и коротко, ту самую границу в комнате: тёплое снизу, холодное сверху. Он тогда ещё не соотносил её ни с чем. Ложка лежала в ящике, и на металле уже не было следа от чужого пальца.

## Глава 2. Осторожный жест

Нина Аркадьевна вернулась через четыре месяца, и за эти месяцы что-то в ней просело. Спина ещё держалась, но уже не сама по себе, а усилием, которое было заметно; она садилась и на секунду задерживалась, прежде чем выпрямиться, как будто сверяясь с забытой инструкцией. Сумку в этот раз она медсестре отдала. Илья отметил это первым, ещё до всякого теста, — не отметить не мог. Люди отдают сумку, когда перестают помнить, зачем её держали.

Дочь вошла вместе с ней и села чуть сбоку, не в линию, а под углом, как садятся те, кто хочет одновременно быть рядом и не мешать. Молодая женщина, лет сорока, в сером пальто, которое не сняла. Шарф лежал у неё на плечах свободно, тонкий, длинный, и один конец уже начинал сползать.

— Здравствуйте, — сказал Илья Нине Аркадьевне.

— Здравствуйте, — ответила она с той же вежливой готовностью, что и в прошлый раз. Только теперь готовность была пустее. Она смотрела на него внимательно и без узнавания, и это было правильно — он и не ждал, что она его вспомнит, врач для таких пациентов величина сменная. Но она посмотрела так же и на дочь. Тем же ровным, доброжелательным взглядом, каким смотрят на приятного незнакомого человека в очереди.

Дочь этого ждала. Илья видел, что ждала: плечи у неё были подобраны заранее. И всё равно, когда мать скользнула по ней взглядом и не задержалась, что-то у дочери в лице коротко надломилось и тут же собралось обратно.

— Мам, — сказала она тихо. Не как проверку. Как привычку.

Нина Аркадьевна повернулась на голос вежливо и внимательно.

— Да?

Одно это «да» — открытое, чужое, готовое выслушать постороннего — весило больше любого протокола. Дочь опустила глаза и стала смотреть в свои колени, где лежали её же сцепленные руки, и Илья понял, что плакать она начнёт не сейчас, а чуть позже, когда решит, что он не смотрит.

Он начал приём. Простые вопросы: какое время года, какой это город, кто её привёл. Про время года она сказала верно, про город ошиблась мягко, а на «кто вас привёл» задумалась и ответила: «Женщина. Хорошая». Дочь при этих словах не подняла головы.

И тогда произошло то, ради чего, как Илья понял задним числом, вся сцена и была устроена, хотя устраивать её никто не мог.

Шарф у дочери сполз окончательно — тонкий конец соскользнул с плеча и повис вдоль руки. Движение было маленькое, почти беззвучное, ткань поехала по ткани пальто. И Нина Аркадьевна, не переставая отвечать на вопрос, не глядя дочери в лицо, протянула руку и поправила шарф. Двумя пальцами подхватила сползший конец и вернула его на плечо. Уложила ровно. Провела разок вдоль, чтобы лёг гладко.

Она сделала это, как делают тысячу раз в день с ребёнком, которого одевают в школу. Рука знала маршрут. Рука знала, что шарф сползает и что его поправляют, знала это в обход всего, что осыпалось выше, — в обход имени дочери, в обход того, что это вообще дочь. Пальцы легли на плечо чужой, по её представлению, женщины и коснулись бережнее, чем требуется, чтобы поправить ткань. Осторожнее, чем нужно. Так касаются того, кого берегут.

Лицо при этом не изменилось. Лицо ничего не поняло. Рука сделала то, чего лицо уже не умело.

Дочь заплакала — беззвучно, не поднимая рук к глазам, просто вода пошла и покатилась, и она сидела, позволяя ей катиться, потому что вытереть значило бы признать. Она плакала не оттого, что мать её узнала. Мать её не узнала. Она плакала оттого, что мать не узнала — и всё-

так поправила ей шарф, как поправляла тридцать пять лет; оттого, что где-то ниже имени, ниже лица, ниже всего, что уже отвалилось, сохранилась эта одна вещь: беречь.

Илья записал.

Он написал: сохранность автоматизированных социальных жестов заботы при выпадении идентификации близкого родственника. Формулировка была точная. Она встала в карту плотно, как встают все его формулировки, и по эту сторону от неё можно было дышать. Он подчеркнул слово «автоматизированных», потому что это и был диагноз: жест без участия сознания, моторная петля, пережившая распад узнавания. Клинически — красиво. Клинически — понятно.

И только когда он поставил точку, что-то в этой точке не закрылось до конца.

Он держал ручку и смотрел на слово «автоматизированных» и чувствовал лёгкое, неуместное сопротивление — как будто термин был велик предмету на самую малость и предмет из-под него выступал с одного края. Жест был автоматизированным, да. Но никакая петля не объясняла, почему пальцы легли осторожнее, чем нужно. Автоматизм не бережёт. Автоматизм просто повторяет. А тут было лишнее движение, вот это — провести вдоль, уложить, — которого функция не требовала и которое сделали всё равно.

Илья не додумал этого. Он был приучен не додумывать в такую сторону; в такой стороне лежала не работа, а что-то, чего работа как раз и позволяла не касаться. Он вернул ручку к строке ниже и вписал план наблюдения, и стал снова врачом, у которого приём, и время, и коридор полон.

Нина Аркадьевна тем временем уже отвернулась к окну. Она забыла, что поправляла шарф, — забыла в ту же секунду, как рука вернулась на колени. На плече у дочери ткань лежала ровно, уложенная чужими и родными пальцами, и некому было помнить, что её уложили. Жест остался в комнате один, без хозяйки, никому не принадлежащий и уже случившийся.

Дочь тихо, коротко всхлипнула и наконец вытерла лицо ладонью, быстро, чтобы никто не успел.

— Извините, — сказала она Илье.

— Ничего, — сказал он. — Всё в порядке.

Это была неправда, и он знал, что неправда, но эти слова для того и существовали.

### Глава 3. Кабинет Ильи

После шести коридор пустел, и в кабинете становилось слышно здание. Где-то оседали трубы, где-то далеко хлопала дверь, лифт уходил вниз и возвращался порожним. Илья любил этот час не за тишину — тишины не было, — а за то, что в нём заканчивались лица. Днём лица шли одно за другим, и каждое требовало, чтобы на него смотрели как на единственное. К вечеру их можно было наконец свести к строчкам.

Он включил лампу, оставив верхний свет погашенным, и в круге света оказался его стол — тот беспорядок, который был порядком только для него. Стопки заключений слева, разложенные по срокам, а не по алфавиту. Тестовые карточки в потёртой картонной папке, перетянутой резинкой. Стакан с карандашами и той самой ложкой. Диктофон. И чашка — белая, с коричневым кольцом внутри, застарелым следом чая, который он давно перестал отмывать, потому что кольцо всё равно проступало снова, и в какой-то год он с ним смирился, как смиряются с чертой на косяке двери.

На полке за спиной стояли кассеты. Старые, ещё магнитофонные, подписанные его же рукой, выцветшей пастой: инициалы, дата, иногда одно слово. «Речь». «Счёт». «Узнавание». Пациентские интервью, записанные двадцать, двадцать пять лет назад, когда он ещё думал, что накопит из них что-то большое. Люди на этих кассетах давно умерли — все до одного, он однажды посчитал и больше не считал. Но голоса остались, и иногда, редко, он ставил какую-нибудь, чтобы услышать, как звучал распад в год, когда сам был молод. Голоса на плёнке искали слова так же, как искала их сегодня Нина Аркадьевна. За четверть века в этом ничего не изменилось. Менялись только те, кто искал.

Он придвинул диктофон и нажал запись.

— Пациентка Н., — сказал он ровно, глядя в свои дневные пометки. — Восемьдесят два года. Повторный осмотр. По сравнению с предыдущим визитом отмечается нарастание амнестического синдрома. Появилась просопагнозия в отношении близких: не идентифицирует дочь при сохранной социальной адекватности. — Он помолчал, сверяясь. — Называние предметов обихода нарушено. Критика к состоянию снижается.

Он остановил запись, послушал, как здание оседает, и пустил снова.

— В ходе осмотра при непризнании дочери отмечен сохранный жест ухода. — Тут он запнулся. Не над мыслью — над словом. Ему нужно было назвать то, что он видел, а того слова, которым это называлось, в его языке не было, был только соседний. — Пациентка автоматически поправила дочери одежду. Сохранность автоматизированных социальных жестов при выпадении идентификации.

Он выключил диктофон и стал переносить это в письменное заключение, от руки, потому что руке доверял больше, чем клавишам. И вот тут, дойдя до реакции дочери, он написал сначала одно, а потом остановился и посмотрел на написанное.

Он написал: «Дочь испытала унижение».

Слово стояло на бумаге и было верным. Он видел это унижение своими глазами — не дочери, а того, что делает с человеком чужой, обращённый в пустоту взгляд родного лица; видел, как дочь сидела и позволяла воде течь, потому что вытереть значило признать. Это было унижение. Не её — она ни в чём не была виновата, — а самой ситуации, в которую человека ставит болезнь другого: сидеть перед матерью как приятная незнакомка и быть за это благодарной хотя бы за шарф.

Илья взял ластик. Стёр «унижение» — резинка прошла по бумаге дважды, и остались катышки и лёгкая серая тень от слова, которую он смахнул ладонью. Вписал сверху: «эмоциональная реакция сопровождающего лица».

Он сделал это не думая — так же, как Нина Аркадьевна поправила шарф. Рука знала маршрут. «Унижение» было слишком человеческим для заключения; заключение читает другой врач, потом комиссия, потом оно ляжет в архив, и человеческому слову там не место, оно там протечёт, оставит след, как чай в чашке. «Эмоциональная реакция» не текла. Она была сухая. Её можно было подшить.

И только поставив точку, он поймал себя на том, что уже второй раз за день делает одно и то же движение и во второй раз не даёт себе его додумать.

Он положил ручку. Посмотрел на заключение, где не осталось ни ложки, которую нельзя назвать, ни осторожных двух пальцев, ни воды, катящейся по чужому лицу, — где всё это лежало теперь под ровными терминами, плотно, стена к стене. По эту сторону стены было тепло и можно было работать. Он строил эту стену тридцать лет, слово за словом, из «дефицита номинации», «снижения критики», «эмоциональной реакции сопровождающего лица», и стена держала.

Он понимал, зачем она. Он всё про неё понимал — про то, что не выдержал бы иначе, что нельзя каждый день пропускать сквозь себя по десять распадающихся людей и оставаться при этом человеком, что термин милосерден к врачу так же, как подсказка милосердна к пациенту, — на одну секунду и лжив на всю оставшуюся жизнь. Он понимал про пациентов, что они прячут дефицит за гордостью. Про себя он этого до конца не додумывал: что и он весь день прячет то же самое за латынью. Что стена, которую он строит, — не наблюдательный пункт, а тоже оболочка. Что защищается он ровно так же, как Нина Аркадьевна, которая сказала: «Я просто не буду говорить. Не хочу».

Он выключил лампу. В темноте кольцо на дне чашки было не видно, но он знал, что оно там. Голоса на кассетах молчали в своих коробках. Илья постоял немного у двери, привыкая к пустому коридору, и пошёл домой, унося заключение чистым, а всё остальное — при себе, куда обычно, туда, куда он никогда не заглядывал, потому что там не было терминов, а без терминов он не умел смотреть.

## Глава 4. Мать до болезни

В доме матери вещи стояли на своих местах так, будто места эти были им назначены не удобством, а законом. Илья это помнил телом раньше, чем мыслью: входя, он всегда чуть замедлялся в прихожей, потому что знал, что стоит войти неаккуратно — задеть плечом вешалку, бросить ключи не в ту чашу, — и мать это заметит, не сказав ни слова, одним движением век.

Она не была тёплой в том смысле, в каком бывают тёплыми матери из чужих рассказов. Она была точной. Тепло у неё выражалось через точность: если она варила ему кофе, то ставила чашку так, чтобы ручка смотрела ему под правую руку, потому что он правша, и это было её способом сказать то, чего она вслух не говорила. Все чашки в буфете стояли ручками в одну сторону. Он в детстве думал, что так у всех. Потом, годам к пятнадцати, догадался, что так только у них, и что это не мелочь, а что-то вроде подписи: здесь живёт человек, который не терпит, чтобы вещи смотрели в разные стороны.

— Ты сказал «где-то в среду», — говорила она ему по телефону, когда он был уже взрослым, уже врачом. — Что значит «где-то в среду»? В среду или не в среду?

— В среду, мама.

— Тогда так и говори.

Она правила его всю жизнь. Не зло — она вообще редко бывала злой, — а так, как правят текст: убирая лишнее, требуя, чтобы слово точно легло на предмет. «Плохо себя чувствую» её не устраивало; она спрашивала — как именно, где, с какого часа. Расплывчатость была для неё чем-то вроде неопрятности. Человек, который говорил приблизительно, в её глазах и жил приблизительно, а жить приблизительно она считала неуважением — к себе и к тем, кто рядом.

Илья вырос внутри этого порядка и вынес из него две вещи, которые долго не связывал между собой. Первую он осознавал: свою профессию. Всё, чем он занимался, — название, точное название того, что с человеком происходит, — было продолжением материнского «тогда так и говори». Он выучился ставить слово на симптом так же плотно, как она ставила чашку ручкой под руку. Диагноз был её порядком, перенесённым в медицину.

Вторую вещь он предпочитал не осознавать. Он боялся этого порядка. Не признавался себе, но боялся — с детства, глухо. Дом держался на матери, как свод держится на замковом камне, и мальчиком он иногда думал: а если она устанет? А если однажды перестанет поправлять полотенце, выпрямлять край скатерти, разворачивать чашки? Ему казалось тогда, что дом просто рассыплется — не в переносном смысле, а буквально осядет, потому что держало-то его не стенами, а вот этой её несдающейся точностью.

Он гнал эту мысль. Она была детская и стыдная. Но она в нём сидела, и он, став врачом, понял, откуда в нём такая жадность к порядку в работе, к протоколу, к тому, чтобы всё было названо и подшито: он всю жизнь достраивал материнский свод, боясь, что без замкового камня всё поедет.

Он помнил её руки. Тонкие, с выступающими венами, очень уверенные. Помнил, как эти руки выпрямляли скатерть: она проводила ребром ладони вдоль края, сгоняя невидимую складку, и делала это не для гостей, а для себя, потому что складка её оскорбляла. Помнил, как она поправляла криво повешенную картину, отступив на шаг, склонив голову, — и не отходила, пока не становилось ровно. Помнил её у буфета: чашка, разворот, ручка в одну сторону, следующая, разворот, ручка в одну сторону.

Всё это он вспоминал теперь с чувством, которому не было точного названия, а неточных он себе не позволял. Ближе всего было — восхищение с холодком внутри. Он восхищался её формой и одновременно знал, что видел, во что эта форма превратилась. Знал, чем всё кончилось. Знал, что человек, который не терпел, чтобы вещи смотрели в разные стороны, в

свои последние годы сам смотрел в разные стороны, не мог свести взгляд, не мог свести слово с предметом, и что чашки в её палате стояли как попало, потому что расставлять их было уже некому.

Но это было позже. А сейчас, в этом воспоминании, она была ещё вся, ещё собранная, ещё замковый камень, и стояла у буфета спиной к нему, разворачивая чашки ручками в одну сторону, и он смотрел на её прямую спину и не мог решить, чего в нём больше — того, что он на неё опирается, или того, что он её опоры боится, потому что всё, что держит так крепко, однажды придётся увидеть опущенным.

Он тогда не знал, что будет первым, кто увидит, как отпускает не только человек, но и то, что держит человека изнутри. Что порядок, который он принял от матери и превратил в ремесло, окажется не свойством ума, а тонкой оболочкой, натянутой поверх чего-то, у чего никакого порядка нет и быть не может. Он этого не знал. Он просто смотрел на мать у буфета и запоминал её руки, как запоминают то, на что рассчитывают опереться всегда.

## Глава 5. «Вы из какой палаты?»

Он приехал в тот день позже, чем собирался, — задержался приём, потом пробки, и всю дорогу он мысленно составлял оправдание, которого никто у него не спрашивал. Отделение к вечеру затихало. Пахло тем, чем пахнут такие места: разведённым дезинфектантом поверх варёного, приторным цветочным освежителем, который не перебивал, а только добавлял, и под всем этим — чем-то ещё, безымянным, запахом самого долгого лежания. Илья знал этот запах профессионально. В тот вечер он вошёл в него как сын.

Мать сидела в кресле у окна. Её пересадили туда после обеда, так делали, чтобы человек не лежал весь день, и она сидела прямо — спина ещё держала старую выучку, — сложив руки на плече, накинутом на колени. Свет из окна падал сбоку, и в этом свете она выглядела почти как прежде: собранная, аккуратная, причёсанная. Издали можно было обмануться.

— Мам, — сказал он, подходя.

Он сказал это так, как говорил всю жизнь, — коротко, буднично, входя в разговор с середины, потому что с матерью не начинают с начала. Он уже расстёгивал куртку, уже готовился сесть на стул рядом, уже держал в голове первую фразу про то, что задержался.

Она повернулась на голос.

И посмотрела на него тем самым взглядом. Илья знал этот взгляд наизусть, он видел его сотни раз на чужих лицах и умел его называть: доброжелательное внимание при отсутствии идентификации. Открытое, вежливое лицо человека, к которому обратился приятный незнакомец и который готов выслушать, чем может быть полезен. Ни тени узнавания. Ни малейшего напряжения, какое бывает, когда человек силится вспомнить и не может. Напряжения не было вовсе, потому что вспоминать было нечего: перед ней стоял врач, зашедший в палату, один из многих, и она встретила его так, как встречала всех, — учтиво.

— Здравствуйте, — сказала она.

— Мам, это я, — сказал он. Голос у него не дрогнул. Это он потом отметил с холодным удивлением — что голос не дрогнул, что он произнёс это ровно, будто уточнял.

Она чуть склонила голову, всё так же приветливо. И спросила — не растерянно, не испуганно, а с той же спокойной вежливостью, с какой всю жизнь требовала точности:

— Вы из какой палаты?

Илья стоял. Куртка была расстёгнута наполовину. Стул рядом был пуст. Он потом много раз возвращался к этой секунде и всегда упирался в одно: в ней не было драмы. Мать не смотрела на него с ужасом, не звала на помощь, не путалась, силясь узнать сына. Она просто отнесла его к системе, в которой теперь жила, — к системе палат, врачей, обходов, — и вежливо уточнила его место в этой системе. Из какой он палаты. Не «кто вы», что оставляло бы щель. А сразу — из какой палаты, то есть: вы отсюда, вы часть этого, назовите свой номер.

Он знал, что это. Он мог бы прямо сейчас продиктовать: полная утрата узнавания ближайшего родственника, конфабуляторное включение постороннего в актуальный больничный контекст. Он знал механизм до последнего звена — какие поля коры, какие связи, в каком порядке. Он читал об этом лекции. Он утешал этим чужих детей в коридорах: это не она вас разлюбила, это болезнь, поймите, там уже нет выбора, нет обиды, ничего личного.

Знание стояло рядом с ним, как ещё один врач, и было совершенно бесполезно. Оно объясняло всё и не отменяло ничего. Мать смотрела на него как на чужого, и то, что он мог назвать причину этого взгляда с точностью до нейрона, не делало взгляд ни на грамм теплее. Впервые за всю его практику диагноз оказался пустой скорлупой: он держал в руках механизм и не мог им прикрыться, потому что механизм был про пациента, а перед ним сидела мать.

— Я не из палаты, — сказал он наконец. — Я просто зашёл.

— А, — сказала она с облегчением, будто он снял неловкость. — Хорошо. Тут удобно сидеть, у окна.

— Да, — сказал он. — Удобно.

Он сел на пустой стул. Они помолчали. Мать смотрела в окно, где темнело, и время от времени поглядывала на него доброжелательно, как поглядывают на приятного соседа по лавочке, с которым не о чем говорить, но и молчать не тягостно. Один раз она поправила плед на коленях, разровняла край — тем же ребром ладони, каким когда-то сгоняла складку со скатерти. Рука помнила. Всё остальное — нет.

И тогда он подумал то, чего раньше, при всей своей работе, ни разу не думал так ясно.

Он всегда, профессионально, считал, что худшее — это смерть тела. Что деменция — тяжёлая дорога, но дорога к смерти, а смерть и есть конец. Так учили, так было устроено в голове: тело — граница, за ней ничего. Сейчас, сидя рядом с тёплой, дышащей, вежливой матерью, которая не знала, что он её сын, он впервые почувствовал, что это неправда. Тело её было живо. Оно сидело перед ним, дышало, поправляло плед, говорило учтивые слова. А матери не было. Не было именно её — той, что разворачивала чашки, правила его речь, требовала «тогда так и говори». Смерть тела хотя бы забирает всё разом. А это забрало человека и оставило тело сидеть у окна, дышать и вежливо спрашивать, из какой ты палаты.

Смерть тела милосерднее, подумал он. Смерть тела приходит и уходит. А это — стоит, и длится, и смотрит на тебя чужими глазами родного лица, и его нельзя ни пережить как утрату, потому что человек ещё дышит, ни удержать как присутствие, потому что человека уже нет.

Он просидел с ней час. Уходя, сказал: «До свидания». Она ответила приветливо: «Заходите». И он понял, что она сказала это как посетителю. Как человеку не из её палаты, а просто зашедшему, которого, может быть, увидит ещё, а может, и нет, — ей было всё равно, и в этом равнодушии не было вины, потому что виноватой быть уже некому.

## Глава 6. Отец

Отец назначил разговор так, будто это было совещание. Он позвонил Илье накануне и сказал: «Приезжай в субботу, к одиннадцати, поговорим по существу», — и в этом «по существу» уже было всё, потому что отец не признавал разговоров не по существу, разговоры для него делились на рабочие и на пустые, а пустых он не терпел.

Илья приехал к одиннадцати. Отец сидел на кухне за столом, прямо, положив предплечья на клеёнку, как кладут руки перед началом заседания. Ему было под восемьдесят, но спина держалась — та же порода, что у матери, только у матери спина была принципом, а у отца обороной. На столе перед ним лежали бумаги. Медицинские заключения — Илья узнал их с порога, узнал даже свои среди чужих, узнал шапки клиник, — сложенные не стопкой, а внахлест, веером, чтобы все были на виду. Отец разложил их как улики.

— Садись, — сказал он.

Илья сел. Мать была в комнате, за стеной; было слышно, как работает телевизор, которого она не смотрела, — звук для неё оставляли, чтобы не было слишком тихо.

— Я тут посмотрел, — сказал отец и положил ладонь на веер бумаг. — Тут у всех одно и то же. Слово в слово. Ты не находишь странным?

— Не нахожу, — сказал Илья. — Потому что это одно и то же.

— Вот именно. — Отец поднял палец, будто Илья подтвердил его правоту. — Одно и то же. Все переписывают друг у друга. Один написал, остальные списали. Никто не смотрит заново. Я поэтому и собрал.

Илья молчал. Он знал этот тип разговора; он вёл его с чужими родственниками десятки раз, с той стороны стола. Родственник приносит заключения и объясняет тебе, врачу, что все врачи ошиблись одинаково. За этим никогда не стоит глупость. За этим стоит то, что человек не может уместить в себя необратимость, и потому ищет ошибку — ошибка обратима, ошибку можно исправить, а необратимость исправить нельзя, и значит, её не должно быть.

— Пап, — сказал он. — Это не переписано. Это диагноз, который подтверждается независимо, потому что он верный. Я смотрел её сам. Ты знаешь, что я смотрел.

— Ты сын, — сказал отец. — Ты не мог смотреть как надо. Ты жалел.

Это было почти пронизательно, и Илья на секунду сбился. Он и правда смотрел мать не совсем как врача; он до сих пор не знал, помогло это или помешало. Но отец имел в виду другое. Отец имел в виду, что если бы смотрели строго, без жалости, то нашли бы то, что можно вылечить.

— Там нечего искать, — сказал Илья тихо. — Это не то, что ищут. Это то, что называют. Я понимаю, что это тяжело...

— Не надо, — сказал отец. Не повысил голоса, наоборот, снизил, и от этого стало жёстче. — Не надо меня понимать. Меня не надо жалеть, я не больной. Больная там. — Он мотнул головой в сторону стены, за которой работал ненужный телевизор. — И я тебя как сына прошу и как отец говорю: найди. Есть же новые эти, за границей, методики. Ты в институте, у тебя связи. Не может быть, чтобы человек был и вдруг не был. Так не бывает.

— Бывает, пап.

— Не бывает! — Вот тут он всё-таки повысил, один раз, коротко, и тут же взял себя обратно в руки, будто устыдился, что дал форме дрогнуть. Помолчал. Разгладил ладонью один из листов, хотя лист был ровный. — Ты просто, — сказал он ровнее, — плохо ищешь.

Он сказал это без злости. Вот что Илья запомнил и что потом возвращалось к нему годами: отец сказал это не в сердцах, не чтобы уколоть. Он сказал это как вывод. Как человек, который логически пришёл к тому, что если результат неприемлем, значит, работа проделана недостаточно. Значит, плохо ищешь. В его мире это было связью причины и следствия, а не

обвинением. Он всю жизнь так держал: если что-то не получается, ищи лучше, дожимай, не сдавайся, — и это работало на заводе, работало в его цеху, работало со всем, что можно было дожать. Он не умел различить задачу, которую можно решить старанием, и то, что старанием не решается вовсе. Для него не решалось только то, что плохо искали.

— Хорошо, — сказал Илья.

Он сказал «хорошо» не потому, что согласился. Он сказал «хорошо», потому что понял в эту минуту, что спорить бессмысленно и, больше того, жестоко. Отец защищался. Его жёсткость, его требование новых врачей, его вера в то, что где-то есть непереписанное заключение, — всё это была не тупость и не слепота. Это была броня. Отец не отрицал болезнь как факт — факт лежал на столе веером, он его собрал сам. Отец отрицал мир, в котором его жену можно назвать больной и после этого ничего нельзя вернуть. Такой мир он принять не мог, потому что в таком мире не было того, что он умел делать, — искать, дожимать, чинить. В таком мире от него ничего не зависело, а человек, от которого ничего не зависит, для отца был всё равно что мёртвый.

Илья тогда увидел это ясно, но с холодным, отстранённым состраданием, как видят симптом. Он подумал: вот форма, которая держит его, чтобы он не осыпался вслед за женой. Отцовская твёрдость — это не сила, это скафандр. Стоит его снять, стоит отцу хоть на минуту допустить, что вернуть нельзя, — и он ляжет рядом. Скафандр уродлив, он мучает всех вокруг, он гонит Илью искать несуществующее лекарство, но без него отца просто не станет.

Он этого тогда не додумал до конца — что и его собственная точность, его диагнозы, его «эмоциональная реакция сопровождающего лица» из того же материала, что и отцовское «плохо ищешь». Что они с отцом делают одно: держат спину формой, чтобы не увидеть, что форму держать нельзя. Отец требовал, чтобы мать осталась прежней. Илья требовал, чтобы она стала правильно названной. Ни то ни другое не было ею.

— Я поищу, пап, — сказал Илья, и это была ложь, милосердная ровно на одну секунду. — Пспрашиваю про методики.

Отец кивнул. Плечи у него на миллиметр опустились — не расслабились, а получили разрешение подождать. Он собрал бумаги, ровно, лист к листу, постучал стопкой по столу, выравнивая край, и убрал в папку. За стеной работал телевизор для той, что уже не смотрела. Отец сидел прямо, держа спину, и Илья, уходя, унёс с собой не столько его слова, сколько эту спину — прямую, несдающуюся, за которой не было уже ничего, кроме страха, хорошо умеющего держать осанку.

## Глава 7. Брат Андрей

Илья приехал в отделение днём, между двумя своими делами, и застал Андрея за кормлением. Брат сидел на стуле, придвинутом вплотную к креслу матери, чуть боком, чтобы быть на её уровне, а не над ней, и держал тарелку на колене. В другой руке была ложка. Та самая история, из-за которой Илья всю жизнь зарабатывал, — человек и ложка, — только здесь никто ничего не тестировал.

Он остановился в дверях. Андрей его не заметил, а мать смотрела на брата с тем же вежливым вниманием, каким одаривала всех.

— Ещё ложечку, — говорил Андрей. — Вот так. Хорошо.

Мать открывала рот, как открывают из вежливости, не из голода. Проглатывала. И спрашивала:

— А вы тут работаете?

— Работаю, — говорил Андрей.

— Давно?

— Давно уже.

Она кивала, удовлетворённая, и через несколько секунд, приняв ещё ложку, спрашивала снова:

— А вы тут работаете?

— Работаю, — говорил Андрей.

Илья насчитал четыре раза. Один и тот же вопрос, один и тот же ответ. И вот что он не мог потом забыть: Андрей отвечал не одинаково. То есть слова были те же, но интонация каждый раз чуть менялась, будто вопрос и правда задавали впервые. В четвёртый «работаю» не было ни тени той механической усталости, которая появляется у человека, когда он повторяет по кругу. Андрей отвечал так, словно круга не было. Для матери круга и не было — каждый её вопрос был первым. И Андрей встал не в свой опыт, а в её: раз для неё впервые, значит, и он отвечает впервые.

Илья знал, как это описывается. Он мог бы сказать: пациент не удерживает недавнюю информацию, персеверировать, задаёт вопрос повторно; ухаживающий демонстрирует адаптивную коммуникативную стратегию. Он знал стратегию. Их этому даже учат — не поправлять резко, не говорить «ты уже спрашивала», не возвращать человека силой в реальность, которую он не может удержать. Илья знал эту рекомендацию и умел её пересказать родственникам.

Но одно дело знать рекомендацию, а другое — видеть, как её выполняет человек, который никакой рекомендации не читал. Андрей не применял стратегию. У него не было в голове слова «персеверация», он не знал, какие поля мозга за это отвечают, он вообще не думал в этих категориях. Он просто был не в силах сказать матери «ты уже спрашивала», потому что для него это значило бы ткнуть её носом в её же распад, а он этого не хотел — не из методики, а из чего-то более раннего, чем методика.

Мать сказала что-то про суп — что суп сегодня жидкий, — хотя это был не суп, а протёртое второе. Андрей не стал поправлять.

— Жидковат, — согласился он. — Завтра погуще попросим.

И она вдруг усмехнулась — коротко, живо, той усмешкой, которая осталась от прежней Веры Сергеевны, от женщины, не терпевшей приблизительности, — и сказала:

— Тут всё жидкое. И суп жидкий, и врачи.

Андрей засмеялся. По-настоящему, не из вежливости. Засмеялся вместе с ней над врачами, к которым сам, вообще-то, и привёл её сюда, и мать засмеялась тоже, довольная, что пошутила и что шутку приняли. Они смеялись вдвоём, брат и мать, над жидкими врачами, и

в эту секунду между ними было что-то, чего у Ильи с матерью не было уже давно, а может, и никогда.

Илья стоял в дверях и чувствовал то, чему сначала не хотел давать имя. Потом дал: зависть. Он завидовал брату. Не тому, что Андрей был рядом чаще, — это Илья мог себе объяснить работой, расстоянием, тысячей причин. Он завидовал тому, что Андрей смеялся с матерью, а он, Илья, всю жизнь смотрел на неё. Андрей был с ней. Илья был при ней — как врач при пациенте, как наблюдатель при случае. Он умел про мать всё, кроме того, что умел Андрей: сидеть рядом с распадающимся человеком и не пытаться его немедленно вернуть, назвать, поправить, диагностировать.

Андрей поднял глаза и увидел его.

— О, — сказал он. — Приехал.

Без упрёка. Просто отметил.

— Приехал, — сказал Илья. — Как она?

Он спросил это по привычке, врачебно, и сразу услышал, как фальшиво прозвучало «как она» в комнате, где она сидела в двух метрах и только что смеялась. Как будто её тут не было, как будто про неё можно спрашивать через голову. Андрей чуть заметно повёл плечом.

— Спроси у неё, — сказал он. Не зло. — Она тут.

Илья подошёл. Присел на край второго стула. Мать посмотрела на него вежливо, доброжелательно, как на нового человека, вошедшего в её палату.

— Здравствуйте, — сказала она.

— Здравствуйте, — сказал Илья.

И на этом всё. Он не знал, что дальше. Андрей на его месте спросил бы про суп, про окно, про что угодно бытовое, вошёл бы в её сегодняшний день. А Илья сидел и молчал, и молчание становилось тем самым осмотром, от которого он не мог себя отучить: он смотрел, как она держит руки, как двигаются глаза, как она слатывает. Смотрел клинически, потому что по-другому не выучился смотреть на людей, которые его не узнают.

Андрей протянул ему тарелку и ложку.

— На, — сказал он. — Покорми. Я покурю выйду.

Это было испытание, и оба это знали, хотя Андрей не вкладывал в это ничего специального — ему правда надо было выйти. Илья взял тарелку. Взял ложку. Пальцы легли правильно, тремя точками. Он зачерпнул, поднёс к материнскому рту.

— Ещё ложечку, — сказал он.

Мать открыла рот. Проглотила. И спросила:

— А вы тут работаете?

И вот тут Илья запнулся. Он знал ответ, знал, что надо ответить «работаю», знал, что это единственно верно. Но слово застряло. Не потому, что он не мог его найти, — потому что оно было ложью, а он не умел лгать матери так же легко, как Андрей умел не говорить ей правды. Разница была тонкая, но она была всем. Андрей не лгал ей и не резал её правдой; он находил третье — оставался в её мире, не разрушая его. А Илья умел только два: сказать правду («я твой сын, я не работаю здесь») или солгать («работаю»). Первое было насилием. Второе он не мог выговорить. Он застрял между, с ложкой в руке, и мать ждала ответа, глядя на него всё так же вежливо.

— Я зашёл, — сказал он наконец. — К вам зашёл.

Она кивнула, не совсем удовлетворённая, но приняла. Илья дал ей ещё ложку. Рука у него была твёрдая, движение точное. Он умел кормить — механику он знал. Он не умел того, что делал брат: быть при этом рядом.

Когда Андрей вернулся, от него пахло сигаретой и холодным воздухом. Он посмотрел, как Илья держит тарелку, и ничего не сказал. Забрал у него ложку буднично, как забирают

инструмент у того, кто честно пытался, но это не его работа, и снова придвинулся к матери боком, на её уровень.

— Ну что, — сказал он ей. — Жидкий суп доедаем?

— Жидкий, — согласилась мать и опять усмехнулась.

Илья сидел рядом и смотрел на них двоих и думал: Андрей не возвращает её. Он и не пытается вернуть. Он просто не даёт ей падать грубо. Илья всю жизнь считал, что понимать — значит помогать. А брат ничего не понимал в механизме и помогал больше.

## Глава 8. Последняя просьба брата

Андрей позвонил в начале десятого вечера. Илья это запомнил по свету настольной лампы и по раскрытой папке, которую он в тот момент листал, — на завтра был доклад, большой, годовой, из тех, к которым он готовился месяцами, и он сидел, сверяя слайды с текстом, когда телефон засветился именем брата.

— Слушаю, — сказал Илья, прижав трубку плечом, не отрываясь от папки.

— Ты дома? — спросил Андрей.

Голос у него был не такой, как обычно. Илья это отметил краем сознания, тем самым краем, которым отмечал у пациентов изменение речи, но не остановился на этом. У Андрея голос был стёртый. Не пьяный, не больной — просто выработанный до конца, как аккумулятор, который ещё держит, но уже не заводит.

— Дома, — сказал Илья. — Готовлюсь. Завтра доклад.

— Слушай. — Андрей помолчал. Было слышно, как он где-то на ходу, шаги, потом остановился. — Подмени меня сегодня. У матери. Ночь.

Илья поднял глаза от папки. Не потому, что решал, а потому, что просьба была неожиданной по форме — Андрей никогда не просил. Он вообще не умел просить, всё делал сам и молчал, и то, что он попросил сейчас, само по себе что-то значило. Но Илья тогда этого веса не взвесил. Он услышал слова, а не то, что стояло за словами.

— Сегодня? — сказал он. — Прямо сейчас?

— Ну да. Я третью ночь. Валюсь. Мне бы хоть раз выспаться. — Андрей говорил без нажима, буднично, будто просил соли. — Ты приедешь, посидишь, если что позовёшь сестру. Там ничего не надо, просто быть.

Просто быть. Илья и это пропустил — что брат сказал именно так, теми же словами, которыми когда-то, в дверях палаты, ответил ему: «Она тут. Спроси у неё». Просто быть рядом. То, чего Илья не умел и что от него сейчас, единственный раз, требовалось.

Он посмотрел на папку. Посмотрел на часы — двадцать минут десятого. Посмотрел на расписание, лежавшее сбоку, где на завтра, на девять утра, стоял доклад, а до доклада — ранний пациент, тяжёлый, отложить которого он тоже не мог. Он прикинул дорогу до отделения — сорок минут, — прикинул ночь без сна, прикинул, каким выйдет к трибуне после ночи в кресле у материнской постели. Всё это он прикинул честно и быстро, как прикидывают реальную задачу с реальными вводными.

И у него правда были причины. Вот что потом делало это невыносимым: причины были настоящие. Он не выдумывал их, чтобы отвертеться. Доклад был важный, к нему готовились полгода, от него зависели вещи в институте. Пациент на завтра был тяжёлый и его. Бессонная ночь и правда сломала бы и то и другое. Всякий разумный человек на его месте взвесил бы так же. Он не был чудовищем, отмахивающимся от умирающей матери ради тщеславия. Он был усталым человеком с реальными обязательствами, который в конкретный вечер выбрал обязательства.

Просто он выбрал не мать.

— Андрюш, — сказал он. — Слушай, вот прям сегодня — тяжело. У меня завтра доклад, годовой, я к нему... И пациент с утра. Я если ночь не сплю — я оба дела завалю.

Андрей молчал. В трубке был какой-то фоновый шум — кажется, он снова пошёл.

— Понял, — сказал он. Без интонации.

— Я завтра приеду, — сказал Илья. — Вечером, как освобожусь. И останусь на ночь, отпущу тебя. Прямо на всю ночь. Идёт?

— Идёт, — сказал Андрей.

— Ты же сегодня сам как-то... перекантуешься? Поспи там на второй кровати, тебе сестра разрешит.

— Перекантуюсь, — сказал Андрей.

Вот и весь разговор. Илья потом прокручивал его сотни раз и не находил в нём ничего чудовищного, ни одной реплики, за которую можно было бы ухватиться и сказать: вот здесь ты повёл себя как последний человек. Не было такой реплики. Был усталый брат, который попросил, и был занятый брат, который не смог и перенёс на завтра. Обычный человеческий разговор двух немолодых мужчин про больную мать. «Я завтра приеду» — что тут страшного? Люди говорят так каждый день. Завтра приеду. Завтра сделаю. Завтра, не сегодня, но обязательно.

Он не бросил мать. Он просто перенёс её на завтра.

— Ну давай, — сказал Илья. — Держись там. Завтра меняю тебя.

— Давай, — сказал Андрей и положил трубку.

Илья вернулся к папке. Он честно вернулся к работе — не сидел, терзаясь, не мучился совестью, потому что мучиться было пока не о чем: он же придет завтра, он же не отказал совсем, он отсрочил. Он поправил один слайд, переписал абзац, где формулировка была неточной — мать бы сказала, «тогда так и говори», — довёл текст до той чистоты, которую любил. Работал он хорошо. Доклад назавтра прошёл прекрасно; ему потом говорили, что это была лучшая его вещь за годы.

Он не знал в тот вечер, что «завтра» — это слово, у которого есть срок годности, и что он произнёс его в последний из вечеров, когда оно ещё что-то значило. Он не знал, что фраза «я завтра приеду», такая обыкновенная, такая необидная, что её и вспомнить-то стыдно как проступок, — что именно эта фраза окажется прочнее его имени, прочнее диагнозов, прочнее всего, что он про себя думал; что она будет держать его тогда, когда отвалится уже всё; что она станет последним швом, за который он будет цепляться на самом краю. Он этого не знал. Он выправил слайд, выключил лампу и лёг спать, потому что завтра был важный день.

## Глава 9. После похорон

Мать умерла в ту ночь. Не при Андрее — он всё-таки уснул на второй кровати, вымотанный третьими сутками, — и не при Илье, которого не было. Она умерла тихо, под утро, так, как умирают люди, у которых уже нечему сопротивляться, и когда сестра зашла на обходе, всё было кончено. Илья узнал об этом в семь с чем-то, звонком, стоя на кухне с чашкой в руке; он ещё не успел выехать «завтра». Завтра наступило и застало его дома.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.